



Философский аспект проблемы смысла бытия

Князь Евгений Трубецкой

СМЫСЛ ЖИЗНИ

(Продолжение. Начало см. № 2'2018)

Глава I. Мировая бессмыслица и мировой смысл

I. Бессмыслица существования

Всем сказанным подготавливается постановка основного вопроса настоящего исследования – вопроса о смысле существования вообще и человеческой жизни в частности.

В широком понимании слова, как мы видели, все действительное и возможное имеет свой смысл, то есть свое значение и место в мысли безусловной. Но вопрос о смысле ставится не только как вопрос об истине, но также и в специфическом значении вопроса о ценности. Так, поставленный этот вопрос еще не получил разрешения в предыдущем, ибо смысл-истина не совпадает со смыслом-целью или ценностью.

Все возможное и действительное имеет свое безусловное «что» в истине, или, что то же, – в безусловной мысли. Но это «что» еще не есть безусловное «для чего». Необходимое логическое предположение всякой мысли и всякого сознания есть всеобъемлющая абсолютная мысль и всеобъемлющее абсолютное сознание; стало быть, логически мы вынуждены предполагать суд абсолютной мысли о мире, в котором мы живем, – суд не только о его бытии, но и о его ценности. Но мы пока не знаем, каков вердикт этого суда о ценности мира: представляет ли он собою оправдание или осуждение, ибо логически отрицательная оценка существования столь же возможна, как и оценка положительная.

Вопрос о смысле-цели не только не разрешается, но и не ставится теорией познания как таковою и выходит за ее пределы. Как уже было мною

указано в другом месте, гносеологическое исследование «приводит нас к выводу, что абсолютное сознание и есть та истина всего, которая предполагается как искомое процессом познания. Но оно оставляет нас в полной неизвестности относительно жизненного смысла этой истины и, стало быть, относительно религиозной ценности абсолютного сознания. Что такое это мировое око, которое одинаково все видит, насквозь проникая и зло и добро, и правду и неправду? Раскрывается ли в нем положительный, добрый смысл Вселенной, или же, напротив, это умопостигаемое солнце только раскрывает и освещает ярким светом бездну всеобщей бессмыслицы?»

Всеединая мысль заключает в себе от века безусловное «что» всякого возможного предмета познания и сознания – вот то единственное, что может быть выяснено в пределах гносеологии. Вопрос о том, заключает ли она в себе безусловное «для чего» всего существующего и могущего быть, входит в задачу иного, онтологического исследования – об отношении всеединого сознания или всеединой мысли к тому реальному содержанию, которое она в себе объемлет. Каково это отношение? Выражается ли оно только в том, что безусловная мысль все в себе держит, все в себе объемлет, все видит; или же сверх того она сообщает всему этому ею содержимому, определяемому, видимому положительную, безусловную цель? Иначе говоря, заключает ли она в себе, сверх смысла логического, еще и реальный, жизненный смысл, или, что то же, – жизненное оправдание содержимой в ней Вселенной?

В приведенном выше примере путники на берегу реки задаются вопросом, что такое видимый ими, движущийся издали дымок на горизонте – облако, не имеющее никакого отношения к их цели и стремлению, или та движущая сила, которая приведет их к цели их странствования? Тот же вопрос ставится нами – участниками и зрителями мирового процесса – по отношению ко всему этому процессу в его целом. Есть ли этот процесс – исчезающее и улетающее как дым мимолетное явление безо всякого отношения к нашему пути и цели, к какой бы то ни было цели вообще, или же есть всеединая, безусловная цель, к которой он направлен и которой он достигает?

Вопрос этот неизбежно навязывается нам, потому что вся наша жизнь есть стремление к цели, а стало быть, искание смысла. Но именно оттого это вопрос мучительный: первое, в чем проявляется присущее человеку искание смысла-цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице. Тот смысл, которого мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен; весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном – о бессмыслице. И с этими свидетельствами опыта должно считаться всякое добросовестное решение вопроса о смысле жизни. Мы должны начать с исследования этих отрицательных инстанций, опровергающих нашу веру в смысл. Спрашивается, из каких элементов слагается эта гнетущая нас мысль о всеобщей бессмыслице существования и что мы в ней имеем?

* «Метафизические предположения познания», стр. 35.

С тех пор как человек начал размышлять о жизни, *жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга*. Это стремление, не достигающее цели, а потому роковым образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан. Царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе, бочка Данаид, муки Тантала, Сизифова работа – вот классические изображения бессмысленной жизни у греков. Аналогичные образы адских мук можно найти и у христиан. Например, Сведенборг видел в аду Кальвина, осужденного вечно писать книгу о предопределении. Каждый вновь написанный лист проваливается в бездну, вследствие чего Кальвин обречен без конца начинать работу сызнова. В аду все – вечное повторение, не достигающая конца и цели работа, поэтому даже самое разрушение там призрачно и принимает форму дурной бесконечности, безысходного магического круга. Это – червь не умирающий и огонь не угасающий – две силы, вечно разрушающие и вместе с тем бессильные до конца разрушить. Змей, сам себя кусающий за хвост, – вот яркое символическое изображение этого символического круговращения.

Круговращение это не есть что-то только воображаемое нами. Ад таится уже в той действительности, которую мы видим и наблюдаем, чуждые души в самой нашей повседневной жизни распознают его в его несомненных явлениях. Недаром интуиция порочного круга, лежащего в основе мирового процесса, есть пафос всякого пессимизма, религиозного и философского. Возьмем ли мы пессимистическое мироощущение Древней Индии, учение Гераклита и Платона о вечном круговращении Вселенной или Ницше – о вечном возвращении (*die ewige Wiederkehr*) – всюду мы найдем варианты на одну и ту же тему: мировой процесс есть бесконечное круговращение, вечное повторение одного и того же, стремление, бессильное создать что-либо новое в мире. Гениальное выражение этой мысли дается устами «черта» в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

«Ты думаешь всё про теперешнюю землю, – говорит он [черт] Ивану Карамазову. – Да ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась; ну, отживала, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, ведь это развитие, может, уже бесконечно повторялось и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая».

В этом изображении Достоевского уже не ад, а сама Вселенная представляется как нескончаемая «сизифова работа». Но впечатление «скуки» производит это круговращение лишь до тех пор, пока идет речь о мертвом веществе. Скучным может казаться бесконечное чередование прилива и отлива в море, бессмысленная и вечная смена образования и разрушения солнечных систем и, наконец, бессмысленное вращение Земли, наподобие волчка, вокруг своей оси. Но, когда мы от мертвого переходим к живому, ощущение этой всеобщей суеты становится несравненно более болезненным, ибо оно связывается с мучительным впечатлением неудачи. Мы имеем здесь уже не простое отсутствие цели, а цель недостижимую, раз-

рушенную иллюзию смысла. В жизни живых существ все целесообразно, все направлено к цели. И вот когда мы видим, что и это стремление суетно, что жизненный круг в его целом воспроизводит в осложненном виде все то же бессмысленное вращение волчка вокруг своей оси, нам становится тошно от жизни. Мы испытываем острую душевную боль при виде этого повторения низшей формы существования в высшей...

Всякому из нас, без сомнения, приходилось наблюдать оголенные леса со съеденною листвою в самый разгар жаркого лета. Это работа гусеницы-шелкопряда. Весною она вылупливается из яичек, заложенных у корней деревьев, и поднимается вверх – жрать листву. Потом, когда леса оголены, она превращается в куколку, потом вылупливается в белую бабочку. Бабочка эта, порхая над землею, переживает один-единственный радостный миг любви, чтобы затем умереть в жестоких страданиях над рождающимися из нее яйцами, которые прикрываются на зиму, словно шубой, телом бабочки. Потом опять весной из яиц рождаются черви, опять ползают, жрут, окрыляются, любят и умирают. Куколки, бабочки, черви, куколки, бабочки, черви и так далее до бесконечности. Вот в наиболее обнаженном и грубом виде изображение «жизненного круга», того самого, в котором в той или в другой форме вращается на земле всякая жизнь. Он весь целиком выражается словами церковной молитвы: «земля еси и в землю отыдеши». Всякий наблюдаемый нами на земле круг жизни с роковой необходимостью замыкается смертью и облекается в форму дурной бесконечности беспрестанно возвращающихся рождений и смертей. Всякая жизнь стремится подняться над землею и неизбежно вновь на нее ниспадает, смешиваясь с прахом; а крылья, на которых она взлетает, оказываются лишь призрачной и исчезающей поэтической прикрасою.

Заслуживает ли названия жизни это бессмысленное чередование рождений и смертей, эта однообразная смена умирающих поколений? Самая целесообразность устройства живых организмов, сообщающая ему видимость разумности, на самом деле только подчеркивает суетность их существования в его целом, потому что вся эта целесообразность рассчитана на ту единую и единственную цель, которая никогда не достигается, – цель сохранения жизни. Умирает каждый живой индивид, а жизнь рода слагается из бесконечной серии смертей. Это не жизнь, а пустая видимость жизни. К тому же и эта видимость поддерживается в непрерывной «борьбе за существование». Для сохранения каждой отдельной жизни нужна гибель других жизней. Чтобы жила гусеница, нужно, чтобы истреблялись леса. Порочный круг каждой жизни поддерживается за счет соседних, столь же замкнутых кругов, а дурная бесконечность жизни вообще заключается в том, что все пожирают друг друга и никогда до конца не насыщаются. Единое солнце светит всем живым существам; все им согреваются, все так или иначе воспроизводят в своей жизни солярный круг с его периодическими сменами всеобщего весеннего оживления и всеобщего зимнего умирания. Но, согреваясь внешними лучами, все оживают для взаимного истребления, все спорят из-за лучшего места под солнцем, все хотят жить, а потому все поддерживают дурную бесконечность смерти и убийства.

Чем выше мы поднимаемся в лестнице существ, тем мучительнее и соблазнительнее это созерцание всеобщей суеты. Когда мы доходим до высшей ступени творения – человека, наша скорбь о бесконечной муке живой твари, покорившейся суете, осложняется чувством острого оскорбления и граничит с беспросветным отчаянием, потому что мы присутствуем при развенчании лучшего, что есть в мире. Утомленный зрелищем бессмысленного прозябания мира растительного и суетного стремления жизни животной, глаз наш ищет отдыха в созерцании высшей ступени, душа хочет радоваться о человеке. Но вот и этот подъем оказывается мнимым. Высшее в мире проваливается в бездну, человек повторяет в своей жизни низшее из низкого, что есть на свете, – бессмысленное вращение мертвого вещества, прозябание растения и все отталкивающее, что есть в мире животном. Вот он пресмыкается, ползает, жрет, превосходит разрушительной злобой самого кровожадного из хищников, являет собою воплощенное отрицание всего святого и в заключение умирает.

Тут уже мы видим нечто большее, чем простое отсутствие жизненного смысла или неудачу в его достижении. Нас ужасает отвратительное издевательство над смыслом, возмутительная на него пародия в жизни человека и человечества.

Прежде всего в жизни человечества мы найдем сколько угодно воспроизведений бессмыслицы всеобщего круговращения. В «Записках из Мертвого дома» Достоевского однообразная, бессмысленно повторяющаяся работа изображается как жестокое издевательство над человеческим достоинством. По Достоевскому, для человека одно из самых жестоких наказаний – повторять без конца один и тот же бессмысленный ряд действий, например переносить взад и вперед кучу песка. Ужас жизни в том, что она вообще паразитически напоминает это ненужное и оскорбительное для человеческого достоинства занятие. Возьмите жизнь рабочего на фабрике, которая вся проходит в бесчисленных повторениях одного и того же движения при ткацком или ином станке, жизнь почтового чиновника, которая посвящается бесчисленным воспроизведениям одного и того же росчерка пера под квитанциями заказных писем, или же, наконец, жизнь «мальчика при лифте» в большой гостинице, который с утра до вечера и с вечера до утра возит жильцов сверху вниз и снизу вверх, и вы увидите, что существование этих людей, жизнь всех людей вообще оскорбительно похожа на нескончаемое вращение белки в колесе. Ибо всякая жизнь так или иначе воспроизводит в себе движение какого-либо без конца повторяющегося круга, которому она подчинена. Жизнь земледельца, который сеет, жнет, жнет и опять сеет без конца, подчинена кругу солярному, жизнь рабочего – кругу фабричного колеса, жизнь чиновника – круговращению огромного административного механизма. И в этом круговращении сам человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся машины. Отличие его от белки в том, что он обладает умом, способным сознавать свое унижение, и сердцем, которое о нем страдает и мучится.

Присмотритесь внимательнее к проносящейся мимо вас жизни; посмотрите, как радуется этот пишущий квитанции чиновник, когда вы назовете его по имени и отчеству, или этот мальчик при лифте, когда вы

заговорите с ним о его деревне или семье; обратите внимание на ту жадность, с какою он, в антракты между подъемами и спусками лифта, читает свою маленькую печатную книжку, всякую печатную строку, которую он может достать, и вы поймете всю глубину человеческой тоски о тщете человеческого существования. Этот мальчик, как и тот чиновник, хочет быть человеком с индивидуальным именем, существом единственным в своем роде; а жизнь сделала того и другого безличным номером, одного – пишущей машиной, а другого – мальчиком при машине. Все существо его восстает против этого рабства, от которого он ищет спасения в ином, книжном и, быть может, тоже фальшивом, призрачном мире.

Мне скажут, что все эти скучные и обезличивающие человека занятия, из которых слагается житейская суета, не составляют его подлинной, настоящей жизни. Все это – не самая жизнь, а добывание средств к жизни. Прекрасно, но, во-первых, большинство людей настолько поглощено этой заботой о средствах, что им некогда даже подумать о целях. А во-вторых, в чем же заключается та цель, ради которой человек оказывается вынужденным покориться суете? Одному нужно есть и пить, а другому, кроме того, – и пропитать потомство. Надо поддерживать эту призрачную жизнь, которая беспрестанно умирает, надо бороться против смерти, безо всякой надежды этим достигнуть окончательной победы в борьбе, ибо смерть рано или поздно возьмет свое. Биологический круг, биологический закон траты и обновления – вот что приводит в движение весь механизм человеческой жизни, вот ради чего вращаются эти бесчисленные колеса, а в них – сам развенчанный царь-человек со своими помыслами, желаниями, надеждами.

Нас возмущает это рабство духа, это подчинение воли, мысли и чувства роковой необходимости биологического закона. И когда оно делает нашу жизнь невыносимой, нам хочется от нее отвлечься и развлечься; нам нужно забыть о собственном посрамлении. Для этого к нашим услугам все чары искусства – поэзии, живописи, музыки – и вся мудрость философии. Находит ли в них человеческий дух освобождающее слово, могущее его спасти от удручающего его тяжкого плена?

Увы, в великом деле духовного освобождения эта красота и мудрость оказываются в большинстве случаев орудием столь же немощным, как «книжка» в руках «мальчика при лифте». Искусство, воспевающее суетную жизнь или не обладающее достаточною силою, чтобы пересоздать ее, поднять над нею человека, слишком часто служит таким же обманом, как крылья, на миг превращающие отвратительного червя в красивую бабочку. Так же и в той наиболее распространенной во все века философии, которая дает апофеоз суеты и изрекает ей свое «аминь», мы найдем не подлинный подъем духовный, а новые и новые памятники рабства человеческого духа.

Мы можем каждый день наблюдать это духовное падение в ярком, хотя и несколько карикатурном изображении.

Почему мы так часто испытываем чувство глубокого возмущения и острой душевной боли при виде оркестра, играющего в ресторане? Почему музыкальные мотивы, насквозь пропахшие запахом жареного, кажутся

нам предельным выражением человеческой пошлости, а музыканты во фраках, исполнители этих ресторанных мелодий, вызывают к себе едва ли не большее сострадание, чем клоуны в цирке? Оттого, что в этом превращении музыки в аккомпанемент к пищеварению рабство человеческого духа предстает перед нами в наиболее обнаженном виде! Еда и питье – единственно существенное в мире, а «звуки небес» – не более как приправа, пикантный соус к кушанью, вот о чем говорит это зрелище. Если биологический закон есть все в жизни, если в ней нет ничего сверхбиологического, то такова же роль всякой музыки, как и всякого вообще искусства. Тогда в ресторане – ее подлинное назначение и место. Но тогда и роль философии сводится к задаче скромного аккомпанемента к человеческому аппетиту и становится чрезвычайно похожей на роль румынского оркестра во время завтрака.

К тому же этот жизненный пир человека есть торжество победителя в борьбе за существование. Из-за него льются потоки крови, ибо в замкнутом биологическом круге существования всякая жизнь поддерживается за счет других жизней, всякое торжество одного возвещает смерть другого и связывается с лозунгом – «горе побежденным». Не только жизнь низшей твари, бесчисленные человеческие жизни гибнут жертвой беспощадного закона «войны всех против всех», царящего в мире. В жизни народов, как и в жизни хищных зверей, все приспособлено к спору из-за лакомого куска; здесь царит та же телеология борьбы за существование, как и в низшей природе! И в этом подчинении коллективной жизни человека низшему закону животной жизни, в этом возведении биологизма в принцип и норму отношений народов заключается одно из наиболее ярких проявлений рабства человеческого духа.

Тут мы имеем одну из самых мучительных коллизий между присущей человеку жаждой смысла жизни и преодолевающей силой, царящей в мире бессмыслицы. Вера в смысл жизни неразрывно связана с верой в человека как носителя этого смысла, в безусловное, царственное достоинство человека. И вот мы видим, что *коллективная, государственная жизнь человека складывается так, что в ней для этого безусловного достоинства не остается места*. С одной стороны, властный призыв любви ко всякому человеку как таковому, а с другой стороны, все народы вооружены с головы до ног для взаимного истребления. С одной стороны, попытка человека прорвать порочный круг всеобщей борьбы за существование, взлететь над землей в светлом подъеме любви, а с другой стороны, новая иллюстрация бессилия этой попытки – государство с его периодически повторяющимся и периодически торжествующим лозунгом – всё для войны.

В государстве протекает вся человеческая жизнь, и от государства человеку уйти некуда. Вследствие необходимости защищать свое существование с оружием в руках оно требует от человека полного напряжения всех его сил; оно стремится подчинить себе без остатка всего человека со всеми его стремлениями и помыслами и, поработав его, еще более закрепляет подчинение его духа началу биологическому. Борьба народов происходит из-за материальных благ, из-за новых территорий, рынков и

иных материальных выгод. Отсюда – неизбежно присущая государству тенденция утверждать эти блага как высшее в мире, подчинять духовное экономическому. Когда подвиг сверхчеловеческого героизма, духовный подъем любви к родине и, наконец, высшая жертва любви – жертва собственной жизнью, миллионами человеческих жизней – требуется для того, чтобы одно государство наживалось на счет другого, – несоответствие между тем, что государство дает человеку, и тем, чего оно от него требует, бросается в глаза; ибо здесь ради материальной ценности приносится в жертву то, что бесконечно дороже всяких товаров, рынков и территорий. Но высшее из всех возможных зол государственной жизни заключается вовсе не в этом несоответствии, а в присущей государству тенденции – извращать самый духовный облик человека.

Для государственных целей может быть полезен человек – палач или шпион, человек, готовый за деньги на всевозможные мерзости. Государство иногда нуждается в услугах кокотов или проституток, могущих узнать чужие дипломатические тайны. Ему вообще во многих случаях бывает нужна подкупная человеческая совесть. Для него может быть полезно, чтобы все его подданные стали совершенными орудиями войны, жестокими и безжалостными к людям другой расы, воспитанными на резвость и злобу и готовыми отречься от всякой нравственной заповеди в тех случаях, когда этого требует государственная необходимость. Государство хочет быть для человека безусловной ценностью; оно вообще не склонно признавать никаких высших над собою ценностей, в том числе и ценности человеческой души или безусловного достоинства человека.

Представим себе, что этот, несомненно, существующий уклон к государственному абсолютизму когда-либо восторжествует, что государство, выражаясь языком Гоббеса, действительно станет «смертным богом» для человека. Тогда мир явит собою ужасающую картину торжествующей бессмыслицы! Порочный круг, в котором бессильно мечется человеческая жизнь, тогда будет близок к завершению, ибо его завершение – окончательная утрата человека.

Представим себе, что человек со своей «культурой» целиком и без остатка стал колесом огромного механизма, рассчитанного на войну как на высшую и окончательную цель; это будет значить, что человека больше нет в мире, что самая память о нем исчезла, ибо затерялось единственно ценное его отличие от низшей твари. Это отличие и эта ценность – то откровение смысла жизни, коего мир вправе ждать от одухотворенного человеческого сознания и от просветленной человеческой воли. И вот оказывается, что этого откровения нет и не будет! Пришел человек, и мир остался таким же, каким он был в дочеловеческую эпоху, – хаосом сил, борющихся за жизнь и в этой борьбе сеющих смерть! Вместо того чтобы преодолеть дурную бесконечность всеобщей кровавой борьбы за существование, он изрек ей свое «аминь» и усовершенствовал ее механизм. И на это ушли все его духовные силы. Война оказалась окончательной целью всего человеческого прогресса, высшим содержанием человеческой культуры.

Мы имеем здесь не отдаленную опасность, грозящую миру в будущем. В наши дни обнажения мировой бессмыслицы «культура» оказалась не то

обманчивой прикрасой, не то орудием злой, хищной жизни. Мы в конце концов не знаем, служит ли она очеловечению или озверению; а потому вопрос – быть или не быть человеку – ставится перед нами ребром. Ведь самая мысль о человеке связана с представлением о новом, сверхбиологическом начале, которое он несет в мир, с мечтой о преодолении закона кровавой борьбы за существование, хотя бы в отношениях между людьми.

И вот оказывается, что эта мечта о мире даже в пределах человечества не более как пережитая иллюзия. Мира на свете вообще не существует. То, что мы называем миром, на самом деле лишь перемирие, хуже того, скрытая война – такое состояние, в котором все подчинено войне как последней и окончательной цели. Кончились те времена, когда промышленность считалась «орудием мирного преуспевания». Теперь мы видим ее в двойной роли – орудия и стимула войны. Оказывается, что индустриализм воинствен: именно для него требуются новые порты, территории и новые пути сообщения, а стало быть, новые завоевания. С другой стороны, каждый успех промышленности создает для этих завоеваний новые орудия, а стало быть, родит и новые соблазны. Как не использовать свое «технологическое превосходство» над государством с менее развитою промышленностью?!

С одной стороны, война для промышленности, а с другой стороны, промышленность для войны – таков тот порочный круг, в котором вращается жизнь народов и государств. Это не более и не менее как воспроизведение в усложненном виде биологического порочного круга. Все живые существа живут в таком состоянии непрерывной войны, борются, чтобы жить, и живут, чтобы бороться. Во всем, что живет, есть это непрестанное превращение цели в средство и средства в цель.

Во всем мире эта картина вечно ускользающей цели наводит на мысль о призрачности всяких целей и, стало быть, о бесцельной жизни как целого. Но когда мы обращаемся к человеку, когда мы видим, что и в его жизни есть только дурная бесконечность средств, заменяющих цели, картина становится не только безотрадной, но и жуткой. Ибо что же такое мир, если таков человек, если и его стремление подняться над порочным кругом биологического существования бессильно! Если так, то и весь процесс развития, вся линия эволюции от зверя к человеку – подъем мнимый. В мире нет никакого восходящего движения, есть только вечно повторяющийся круг и человеческое – лишь обманчивая личина звериного!

Раз война становится общим содержанием всей жизни, ничто в жизни не остается нейтральным. Жизнь духа подчиняется ей так же, как и жизнь тела. Творчество мысли, усилия и напряжение воли, все подвиги и доблести в мире – все это орудия войны, все это нужно лишь для того, чтобы народы могли терзать друг друга, все это, стало быть, новые усовершенствования того же изначального, к смерти приводящего биологического процесса.

Тут уже облик звериный переходит в иную плоскость бытия, утверждает себя как сущность всего духовного. Происходит не одухотворение животной жизни, а как раз наоборот, озверение духа; и в этом новом своем духовном превращении звериный лик становится страшен. От него веет

нездешними глубинами. Недаром во всех религиях ад населяется двойственными ликами: получеловеческими, полужверинными. Эти человекообразные и вместе зверообразные фигуры с рогами и клыками, с козлиными мордами, с птичьими когтями и клювами во все века говорят об одном и том же: не подняться человеку над зверем! Самая область духа носит начертание звериное. А стало быть, зверь и есть подлинная сущность человека, от которой ему уйти некуда. Весь мир есть темное царство, где кружатся в вихре двойственные фигуры, пародии и карикатуры, издевающиеся над человеком и избличающие его во лжи. Если люди – черти, терзающие друг друга в аду, то человек и в самом деле – пустое притязание и пустое имя.

Биологизм, доведенный до последней, предельной своей черты, незаметно и естественно переходит в сатанизм. Когда царящее в мире зло одухотворяется, когда закон борьбы за существование утверждается не только как факт, но и как норма, которой все человеческое должно подчиняться, наша человеческая действительность становится чрезвычайно похожей на ад. Посмотрите на эти вооруженные с ног до головы государства, ощетинившиеся друг против друга и периодически заливающие мир кровью! Разве они не представляют собою жуткое напоминание о допотопных, давно исчезнувших чудовищах! И разве эти демонические фигуры борющихся между собою великих Левиафанов не говорят нам, в сущности, о том же, что фигуры чертей в аду? Нет в мире человека, есть усовершенствованные ихтиозавры и орангутанги с их вечно повторяющейся отвратительной свистопляской!

Простое возвращение в животный мир для человека невозможно. Как бы он ни уподоблялся скоту, человек все-таки сохраняет от него одно существенное отличие – свою свободу. И если он облекается в образ звериный, этот образ не есть для него что-либо естественное, необходимое! Тут есть воспроизведение зверя в человеческой свободе, зверопоклонство, утверждение звериного начала как чего-то нормального и должного. Для человека это впадение в низшую область жизни противоестественно и оттого-то оно так страшно.

Не одни только ужасы войны, всякое проявление рабства человеческого духа, всякое подчинение его низшей, подчеловеческой стихии приводит к обнажению зверя в человеке. Иногда мы имеем здесь простое угасание духа; тогда человек становится разжиревшим скотом; об этом превращении свидетельствуют потухшие свинообразные лица. Но бывает и другое. Когда сквозь человеческие черты явно проглядывает волчья морда, когда человек глядит на нас острыми, злыми глазами хищной птицы, когда мы воочию видим искаженный нечеловеческим сладострастием лик сатира с масляными щеками и сладкими смеющимися глазками, заставляющими подозревать о существовании хвоста, душа впадает в трепет, ибо она как бы осязательно воспринимает переход дурной бесконечности биологического круга в огненный круг черной магии. Такое впечатление производят все противоестественные пороки, например, та нечеловеческая жестокость, которая выражается в бесцельном причинении мучений, в умышленном попирании человеческого как такового.

Есть и другие пороки, наводящие мистический ужас; это те, которые возводятся в религиозное служение или пародируют в той или иной форме высший духовный подъем. Когда мы слышим о хлыстовских радениях или узнаем о противоестественных мерзостях носителей духовного сана, видение чертей в аду становится для нас настоящей реальностью, ибо здесь мировая бессмыслица предстает перед нами уже не как простое отсутствие и даже не как отрицание смысла, а как явная и оскорбительная на него хула. Когда дух человеческий погружается в эту бездну, порочный круг самоутверждающейся бессмыслицы тем самым завершается; тогда бесконечное вращение огненного колеса Иксиона перестает быть видением и становится реальностью.

II. Жизненная суета и требование смысла

Когда мы раскрываем до конца эту интуицию мировой бессмыслицы, нас поражает в ней странная, парадоксальная черта. Она свидетельствует о чем-то, что пребывает вне ее, по ту сторону бессмыслицы; о чем-то, что в нее не вовлекается и ею не уносится. Мир бессмыслен; но я это сознаю, и постольку мое сознание свободно от этой бессмыслицы. Вся суета этого бесконечного круговращения проносится передо мною; но, поскольку я сознаю эту суету, я в ней не участвую, мое сознание противопоставляется ей как что-то другое, от нее отличное. Сознательный суету, как сознающий, стоит вне порочного круга. Если бы моя мысль вся целиком уносилась этим Гераклитовым током, она вся без остатка сгорала бы в движении Иксионова колеса; она не могла бы отделиться от него, отличить его от себя и, стало быть, сознать его. Чтобы осознать суету, наша мысль должна обладать какой-то точкой опоры вне ее.

Уже не в первый раз в течение настоящего исследования находим мы эту мысленную точку опоры над хаосом. Мы уже видели, что интуиция вечного смысла над бессмыслицей – всеединого истинного и безусловного сознания над моим ограниченным, изменчивым, движущимся и заблуждающимся сознанием – обуславливает самую возможность познания.

Передо мною проходят бесконечные ряды представлений, чувств и ощущений, по-видимому, не связанных между собою какой-либо единой нитью и нередко противоречивых. Эти представления сталкиваются между собою и вытесняют друг друга из моего ограниченного поля зрения. В силу этой ограниченности моего сознания я могу сознать, только переходя во времени от одних рядов представлений к другим. Но я знаю, что где-то над этими движущимися и сталкивающимися рядами есть недвижная истина всего, в которой от века дан и от века осуществлен абсолютный синтез всех возможных содержаний сознания; там все эти проходящие ряды, которые кажутся мне хаотичными и раздробленными, связаны во всеединое мировое целое всеобщей, безусловной и необходимой связью. Над Гераклитовым током изменчивых представлений есть всеединое и безусловное сознание. В этом заключается необходимое предположение и необходимая точка опоры всего познавательного процесса. Только через подъем к этому безусловному всеединому сознанию, в котором содержится смысл-истина всего, что есть, я спаса-

юсь от моей лжи, от моих заблуждений, от хаотической бессмыслицы моих представлений.

Мы чувствуем тот же подъем и ощущаем ту же точку опоры над бессмыслицей, когда последняя является перед нами не в теоретической форме заблуждения, а в практической форме житейской суеты. Тут это – точка опоры – не мысленная только. Я отталкиваюсь от суеты не одною мыслью, но и волею, чувством, всем моим существом. Наглядное тому доказательство – самый факт моего страдания, моей скуки, моего отворачивания и, наконец, моего ужаса. Существо, всецело погруженное в этот порочный круг, не могло бы ни страдать, ни сокрушаться о нем.

Суета мучительна для нас именно по сравнению со смыслом, которого мы жаждем, – иначе бы мы ее не распознавали. Бесцельность и вечные повторения жизни вызывают в нас тоску именно потому, что вся наша жизнь есть стремление к цели, к смыслу. Эта наша жажда смысла есть всегда стремление вперед и вверх; и именно поэтому нас оскорбляет это вечное кружение, которое указывает, что в мире нет движения вперед, нет восхождения из ступени в ступень, а есть бесплодное топтание на месте. Душа жаждет подъема, стремится к горнему полету, и вот почему ей так отвратительно это всеобщее движение – в одной плоскости.

Мы не могли бы болеть об этой суете, мы не могли бы проникаться живым состраданием ко всякой страждущей твари, если бы у нас не было точки опоры над суетой, вне круга страждущей жизни. Мы не могли бы возвыситься над разделением и раздором существ, борющихся за жизнь, если бы нам не было присуще чувство глубокой солидарности всего живого, если бы у нас не было глубокой интуиции единства всех существ в их общем стремлении к какой-то цели всякой жизни.

Сознательно или бессознательно я всем моим существом требую эту цель, живу надеждой на какой-то конец всякого жизненного стремления – конец в смысле жизненной полноты. И созерцаемая мною суета мучительна для меня по сравнению с этим концом, которого я тщетно ищу. Мучителен тут обман, мучительно разочарование. Но разочарование было бы невозможно, если бы в тайниках моей души в подсознательной ее глубине не жило какое-то мне самому неведомое очарование, чаяние цели, конца и смысла. И только сопоставляя действительность с этим смыслом, я могу испытывать страдание и тоску. Как человеческое ухо не слышит фальши, если оно не чувствует гармонии, так и мысль наша не могла бы сознавать бессмыслицу, если бы она не была озарена каким-то смыслом.

(Продолжение следует)

